

Шер аминь / рассказ

Category: Некаýалар, Китарсу

написано китарсу | 26 января, 2025

Шер аминь / рассказ ШЕР АМИНЬ

Отец засобирался.

Он накручивал свой пушистый, колючий, разноцветный – что-то красное, жёлтое, коричневое, оранжевое, – шарф; тогда ещё не умели носить шарф по-французски, изящным узлом; отец носил шарф как русский интеллигент – чтоб было тепло, пышно, чтоб шарф заканчивался под верхней губой, и когда в него надышишь – там мокрая изморозь.

На отце была шуба; когда она висела отдельно – могла залаять; на отце – смирялась.

Я спросил: «Куда ты?» Отец с деланной беззаботностью сказал, что до магазина, за папиросами.

Бабука – моя бабушка, так её звали все – говорит, подтверждая: «В магазин ходит и вернётся».

Хлопнула дверь, потом другая дверь. Ушёл.

Мы сели с бабукой и сидим, она на диване, я на полу. Она в очках, зашивает дедовскую рубаху, щурится на иголку, как бы раздумывая: стоит ли раздражаться на такую маленькую вещь или не стоит; я смотрю на бабуку, пытаюсь догадаться о чём-то огромном; мне, наверное, лет пять или меньше.

Ни одной мысли в моей голове не было, они и сейчас редко приходят, поэтому я просто вскочил и побежал. Даже не обулся.

Хотел написать, что осознал происходящее, – но всё это враньё, какое тут осознание, просто появилась картинка: отец стоит на дороге, голосует и курит; и вот уже едет в деревню, где наш семейный дом и где его ждёт жена – моя мать. Он разговаривает с водителем грузовика, они смеются, отец угощает водителя папиросой «Беломор». Открывает окно – в щель рвётся небритый февральский сквозняк.

На улице был холод, много снега – в деревне снега всегда больше, чем в городе. Лес начинался сразу от наших ворот – а трасса лежала за лесом, в полукилометре. Бабука догнала меня,

убежавшего, в лесу. Принесла в охапке домой. Я не плакал и не отбивался. Поймали и поймали. Не судьба.

Бабука посадила меня на то же место, где я и сидел, взяла рубаху, на рубахе, скучая без дела, висела нитка с иглой. Как будто ничего не случилось.

Представления не имею, зачем я побежал. Понятно, что за отцом. Но я никогда особенно не скучал по родителям – если оставляли у стариков в гостях, жил как ни в чём не бывало.

Куда сорвался?

Наверное, отец должен был вернуться из своего февраля, взять меня на руки.

Потому что с тех пор всё не так.

В следующий слякотный февраль, в последние его дни, шёл по улице, тихий, светлый мальчик (я себя маленького люблю, как будто я тридцатилетней давности – это мой сын), – у нас в деревне жили хулиганы, фамилия Чебряковы, я их не различал, оба были длинные, с мосластыми телами, шеи кадыкастые, лица вытянутые, тупые, подлые, – один из них толкнул меня в плечи, сзади, и я упал всем телом в ледяную грязь.

Грязь в нашей деревне была ужасная, сейчас такую не найдёшь – её варили как кашу, весной она лежала мелко покрошенная, перемешанная со льдом, летом парила, осенью причавкивала. Не высыхала и не смерзалась никогда. Как будто внутри этой грязи тихо бурчал нефтяной родник, точнее сказать – гнойник.

Ровно к моему падению грязную лужу как следует раскатал деревенский трактор, чтоб стало сразу и пожиже, и погуще. Следом пробежала лошадь, оставила в этом месиве горячее воробьям и снегирям.

Туда и упал я.

Пришёл домой весь уделанный, как клоун.

Из рта – грязь; постмодернист, словом.

Мать ничего не сказала – я надеялся, что она пойдёт и убьёт Чебряковых, а она просто умыла меня. Всё сняла, дала чистое.

Следующий раз – ещё через год, опять февраль. Играли за школой в футбол – у нас любили играть в футбол зимой, лето короткое, пока его дождёшься, а мяч лежит вот, ждёт пинка. Я был в трёх драных свитерах и без шапки: это придавало мне, как я сам

думал, лихости. Команды были смешанные по возрасту. К противникам присоединился – не помню как зовут – только что вернулся из армии – белёсый чёрт с белёсыми ресницами, смешливый. Я торчал у ворот. Белёсый играл весело, ловко, вскоре засадил мячом – попало мне в лицо, я сделал – безо всякого преувеличения – два оборота в воздухе, упал; глаз словно бы ввернулся внутрь головы – я потом бережно извлекал наружу, обратно, в белый свет напуганными пальцами веко, ресницы: глаз казался каким-то мясным, слишком объёмным, похожим по ощущению в пальцах на пиявку.

Если б я стоял возле штанги – ударился бы головой об неё и умер.

С коллективными играми у меня не задалось.

Из деревни меня извлекли, как птенца из гнезда, поселили у фабричной трубы: семья решила, что пережить смерть советской власти лучше стоя на городском асфальте.

В новую школу впервые пришёл зимой, в феврале.

У школы стоял бугай из параллельного класса – выше меня на голову, девятилетнее животное. Снял с меня шапку и бросил далеко. Я полез за его шапкой, отомстить, но он легко оттолкнул меня. Силы были не равны.

Я ходил за ним на переменке, думал: надо изловчиться и ударить, но не хватило духа.

В новой школе была учительница, классный руководитель, сталинистка, рябая, костлявая, едкая на язык.

Началась *perestroika*, она решила, что необходима демократизация, провела опрос, кто как к ней относится в классе, – анонимно.

Мой сосед по парте Чибисов написал, что учительница – сволочь. Я написал, что претензий не имею.

Следующий, через день, опрос был уже не анонимный, а за подписями.

Собирая наши ответы, рябая ехидно глянула на меня поверх своих огромных очков и, не сдержавшись, сообщила: «Посмотрим, что ты здесь написал, иудушка».

Четыре года после этого она разговаривала со мной совершенно по-скотски, я ничего не понимал, терпел.

Однажды мыл класс после уроков – у рябой уже который год не прекращался мстительный зуд, она опять подняла эту тему: какой я ничтожный, лживый, как же я могу жить такой, почему меня носит земля, не должна бы.

Я уже подросток и нашёл в себе смелость вяло поинтересоваться, в чём дело.

А помнишь, говорит, опрос. В анонимном ты написал, что я сволочь, а за подписью – что нет, что не сволочь; вывод: ты врун, в разведку с тобой нельзя.

Я говорю: покажите опросный лист. У неё был наготове (хранила все эти годы в особой тетрадке, носила с собой, чтоб подогревать мстительность): смотри – взмахнула листками, как факир: сейчас будет номер.

Увидев листы, я взвыл – благо, Чибисов уже года три как учился в другой школе, – это не я! это Чибисов написал!

Она, смешавшись, тут же сказала: «...ты наговоришь мне сейчас!» – и опросники убрала. Извиниться, естественно, не посчитала нужным. Некоторое время смотрела в окно, на подтаивающий снег, – думала, видимо, не было ли ошибки в её многолетнем издевательствах над ребёнком. Сделала твёрдый вывод, что нет. Кто старое помянет, решила по-взрослому, мудро, тому глаз вон. Это ещё что.

Девушки у меня были, но чаще не было.

Я всё время помню, что девушки нет, есть только головокружение и подростковая тошнота.

Возвращались пьяные откуда-то с вечеринки в честь старого Нового года, вызвались проводить двух дам – я и двое моих собутыльников, их лица уплыли, не вернуть уже ни одной черты.

Я оказался самый разговорчивый, изо всех сил старался веселить компанию: компания время от времени хмыкала.

Одна, вроде симпатичная, дала телефон, я попросил.

Позвонил уже в феврале, что-то ныл о желанной встрече, она поддерживала разговор так, словно у неё стреляла простуда в ухе – через муку, сквозь сжатые зубы. Потом там кто-то зашумел поблизости, послышался мужской голос, она вдруг говорит шёпотом: «Оставь меня в покое, отвянь наконец, чего тебе надо вообще?»

Как будто я сидел на промокшей колоде в воде, в грозном море, под снегом, падающим ледяной грязью в чёрные волны, хотел выбраться на берег, смотрел на эту девушку снизу вверх, а она оттолкнула ногой мою колоду: плыви, куда хочешь, на берег не лезь, тут и без тебя, знаешь... Плыви, кому говорю!

Прошло двадцать лет, она, наверное, сейчас приготовила борщ мужу – живёт как ни в чём не бывало, всё забыла, – так пусть он немедленно ударит рукой о край тарелки – чтоб тарелка сделала в воздухе круг, и капуста на потолок, на люстру, всё вокруг в кипятке, в детском ужасе, – а он, этот муж, как заорёт: «Сука! Какого чёрта я связался с тобой!»

Кто-то должен за меня отомстить, наконец.

Она бы поняла, что тогда, невинный и озябший, испытал я.

...но нет, муж доест, ничего не скажет, будет прятать в себе самое важное.

В армии, уже став черпаком, я один раз напился – не пропалился на построении, ловко миновал все возможные угрозы, добрался до своей койки, улёгся.

У такого же черпака, как я, с моего же отделения, был фотоаппарат, и он решил сделать на память мою фотографию: сослуживец во сне.

Затяга быстро превратилась в общественное мероприятие: нашли свечу, вставили мне, слава богу, в руки – а руки скрестили. Свечку зажгли, получилось красиво.

Простынку натянули как надо, нарисовали на лбу крест, устав положили на грудь, потом ещё стопку уставов – предполагалось, что теперь у меня будет много времени на чтение; на ноги натянули сапоги 47-го размера: покойник был благонравен, добросердечен, ногаст.

Сделали пышный венок из венка в голове.

Решили, что одной свечки мало, вставили сразу три в руки: а чем покойник хуже торта – разве поминки не праздник? Тоже наливают, зимние салатки, плясать только нельзя, зато петь, вроде, можно.

Духов не отгоняли, душары тоже веселились.

Решили, что если рядом положить швабру – будет уместно: шваброй я сумею запугать чертей, если соберутся к покойнику в

гости.

Тарелку, ложку – тоже на всякий случай подложили ко мне: допустим, черви меня жрут, а я червей, – взаимный обмен. Так можно долго развлекаться – кто кого доест первым.

Под крестом на лбу написали фломастером смешное слово из пяти букв: аминь.

Моё светлое мужское солдатское имя, отвоёванное с такими боями, с такими понтами, с такой смекалкой, со всем тем, что я накопил за девятнадцать лет, – всё пошло к чёрту.

Фотографии распечатали, суки, денег не пожалели, их увидели все.

Каждый мой шаг, когда я шёл до столовой, в наряд, куда угодно, сопровождали незримые улыбки: паси, этот идёт, со свечкой и шваброй, торт из покойницкой, черпак, который аминь.

(В тот февраль я чуть не замёрз в наряде – жить было лень.)

«Шер аминь» прозвал меня мой самый близкий, да что там – единственный товарищ, ботаник, французский учил в школе, я его столько раз выручал, его убили бы без меня – но в этот раз я сам зазвездил ему в зубы, было много крови, зуб потом лежал на столе в столовке, в луже щей, как забытый. Я подумал: может, забрать, как-то ввернуть его, приделать на место: всё можно как-то изменить.

(...потом мне сказали, что свечу мне деда хотели в рот засунуть, для красоты, а ботаник не дал.)

Ничего было уже не исправить.

Свою подругу я приютил пожить в квартирке, которая осталась у моей семьи после многочисленных разменов.

Маме она нравилась – мама ей доверяла.

Мать прожила целую жизнь с моим отцом, ей и в голову не приходило, что женщина, у которой было больше мужчин, чем пальцев на одной руке, может называться как-то иначе, чем «проститутка».

Тем более, кто может изменить её сыну – этому идеальному воплощению ума, такта, красоты, мужества. Ну, то есть, этому иуде, этому шер аминю, с неизменной грязью во рту, который отыгрывается на слабых, врёт, юлит, унижается, перекладывает ответственность, не желает ничего знать, рассматривает себя в

зеркале, любуется парадкой – балабол, понтарь, выкобенщик.

Я дембельнулся, подружка не встречала, отдыхала у своей бабушки – разве бабушку оставишь, я понимаю. Приехала через неделю, вся такая улыбчивая, тихоголосая, ведёт себя так, как будто её завернули в целлофан. В щёку поцелуешь – вроде, кожа, вроде, духи, – а всё равно ощущение – целлофан.

Вечером весь целлофан снял, слоями, кое-где налипло, пришлось повозиться. Свет попросила не включать – ищи в темноте, вглядывайся, развивай в себе крота, купи прибор ночного видения, а фантазия тебе на что.

Фантазия у меня работала полтора года, я весь этот срок гудел как трансформатор, я продумал до деталей, что именно случится, когда дембельнусь, – но жизнь предложила свой вариант. Нет, не так себе представляли мы ход событий в первую ночь по возвращении с гражданской... верней, на гражданку.

Гражданка подвела. Она разучилась делать самые элементарные вещи. Тут помоги ей, здесь не так жёстко, там не щиплись, а что ты как целуешься?

Как?

Да ладно, не обращай внимания. Просто я устала.

Устала? За полтора года устала? Или за полтора года не отдохнула? Ты к своей бабке поехала – даже раковину не отмыла на кухне. В ванной – ржавь, как будто ты там железного человека, или кого там, железного коня надраивала.

А? Комбайн, что ли, мыла?

Прекрати орать. Ты что, меня на правах посудомойки оставил жить? Знала бы я.

(...сделала движение одной ногой, чтобы уйти; остановил встречным движением всего тела, типа: подожди, не всё ещё сказано; хотя смысл моего жеста был, конечно, чуть шире: куда собралась, ау, а чё я тут делать буду с собой?)

До утра разговаривали. Она в состоянии тихой замученности, я – крайнего и неразрешаемого возбуждения. Да ты знаешь, через что я прошёл? Ты знаешь, как нас били звери? Как я чуть не замёрз в наряде? Как нас чуть не отправили в Чучмекистан – я первый записался добровольцем, мог бы вернуться в цинке, тогда ты печалилась бы: ах, что же я так мало его радовала? А какой у

нас был ротный? Он был бесподобный кретин! А комбат? Как три, ёп, кретина! Я даже генерала видел один раз! А знаешь, наконец, что мне один раз чуть свечу в рот не вставили, показать как?

К утру всё горько, кисло, скудно, одноразово, без тепла, без вздоха разрешилось, лучше б не разрешалось.

На другой день звонок: трубку беру – алло? – на том конце провода чуть смешались, потом, смущённо, с деланной беззаботностью: Тину можно?

(Она спит; хотя по затылку увидел: проснулась и слушает спинным мозгом разговор.)

В трубке сразу опознанный мужской голос: мой одноклассник, Тина с ним путалась до меня, потом ушла ко мне, но о нём долго помнила – он был выше меня, красивей, богаче, – к ней, правда, так и не притронулся, пока они там дружили.

Зато пока я маршировал, гонял устав, как символ веры, и отдавал честь, – притронулся. Видимо, она даже не рассказала ему, что живёт в моей квартире: а зачем? Чтоб мне сжечь эту квартиру по возвращении?

Из этой квартиры, выгнав подругу, я поехал в новый мир, где звучат стихи и слагается новая драма, где юноши в странной одежде (голь на выдумки хитра) прикуривают огромными, в виде, например, черепахи, зажигалками свои дешёвые сигареты («...это артистично, так, бля, положено у писателей, специально купил на вокзале, брат, чтоб показать, что мы не лыком шиты...»), где девицы одеты гораздо лучше, чем юноши (каждая переносит в джинсах румяное нагое тёплое солнце, которое никогда не взойдёт перед простыми смертными), и не обращают на юношей внимания, только иронично косятся на железных черепах, с пятой попытки изрыгающих пахучий огонь, зато внимательно, прямым взглядом смотрят на мэтров, ведь мэтры cedят весомые слова, мэтры в мятых дорогах (не настолько дорогих, как хотелось бы) пиджаках видели... Бродского? – да что там Бродского – они Бродского в упор не видели, – а что-нибудь ещё более пронзительное, взирающее из клокочущих глубин вечности живыми глазами, проросшими сквозь мрамор... – ну, допустим, видели себя, взглянув перед выходом на своё отражение в зеркале

гостиничного номера.

Мы – я и несколько моих плюс-минус ровесников – быстро срослись в банду; самые взрослые среди молодых, самые молодые среди взрослых – родившиеся, выросшие и отслужившие кто где смог в прошлом веке, пришедшие в новое тысячелетие не только с зажигалкой в виде черепахи, но и с багажом, который можно было выгодно представить на ярмарке тщеславия, удачи и надежды.

Я стал называться: сочинитель, литератор.

У меня был брат не брат, но хороший товарищ, большой телом, с маленькими глазами, который жил нараспашку и требовал, чтоб другие, рядом, тоже распахивались: чтоб всё было – от души, от всего сердца, голое, без стыда, наружу, навывпуск... но когда другие, помявшись, распахивались, мой товарищ немедленно начинал страдать, что у других выросло что-то важное несколько или даже заметно больше, чем у него.

Со временем он вовсе перестал смотреть вперёд и вверх, а только косился и косился на окружавших его, пока совсем не окосел. Сбежал на свою приморскую рыбалку, где можно было распахиваться в одиночку и не бояться, что кто-то усомнится в его стати и страсти, в его первоизданной величине.

Извлекал свою величину, сравнивал её с пойманной рыбкой, то с пескариком, то с карасиком, – хохотал от радости, плакал от влюблённости в этот мир, в этот огромный и добрый мир.

Но до того, как сбежать, мой товарищ поймал меня за воротник, прямо на вручении мне премии (корзина с цветами, внизу уложенная пачками красиво нарезанной зелёной бумаги, расписанной цифрами), – гаркнул так, чтоб все оглянулись – и девицы, и мэтры, и юноши с черепаховыми зажигалками, – и раскрыл всем глаза:

– Вы думаете это – кто? Он не тот, за кого себя выдаёт! Он лжец, подлец, хитрый скворец, человек с грязным ртом, у него на лбу слово из пяти букв, имя у него ворованное, душа в репейниках! – и, оглянувшись на меня, ткнул мне в грудь пальцем: – Запахнись, предатель, ты обманул нас!

Все смотрели на меня в полной тишине. Черепаха в чьих-то руках едко шипела, не в силах больше породить огонь.

Я (корзину не бросил) выбежал на улицу; не плакал, не смеялся

– просто дышал там с пустой и выгоревшей от стыда головой: я так и не научился думать. В висках стучало: как же теперь жить, разве можно после такого.

На улице опять подтаивал последний месяц зимы, обещающий только обман и болезненную, простудную маету.

Выкинул цветы из корзины на снег, зелёную бумагу рассовал по карманам, а то ещё отнимут.

Я так и не догнал отца.

Всё с самого начала шло наперекосяк.

Всё было бы иначе, если б он не ушёл.

Всё было бы иначе, если б он не ушёл тогда.

Всё было бы иначе, если б он не ушёл тогда от меня.

Поверили? Поверили, да?

Думаете: вот, раскрылся, наконец, а мы ведь догадывались, как у него тоскливо и скользко внутри.

Ничего вы не догадывались, помалкивайте.

Теперь расскажу иначе.

В моей деревне, за околицей, в часе ходьбы лежат холмы – высокие для средней полосы, и если прыгнуть вниз с обрыва – весь поломаешься.

В очередной холод, девятилетний пацан, я ушёл туда – с чего мне захотелось зимой забраться на холм, никто бы не объяснил. Снега было где по колено, где по грудь, надо было сразу возвращаться, с первых шагов к холмам, но я пополз – кричал, пел по пути, один раз расплакался: вперёд было далеко, назад уже поздно.

Туда и летом не всякий решался лезть.

На вершину взобрался, когда солнце было на исходе: полные карманы снега, полные валенки снега, полные варежки снега, полная запазуха, полные уши, полные глаза... подумал и набил полный рот снегом: сожру тебя, февраль.

Снял шапку, по волосам тёк горячий пот, было так хорошо, так сладостно, что я потерял сознание.

На минуту, на час: у кого спросить, не знаю.

Очнулся – и поскорее покатился вниз, унося ноги, голову, душу. Стало темно-темно, деревня в темноте оказалась ужасно далёкой, и еле живые плавали её огоньки в февральском чернильном

бульоне.

Но внутри меня уже поселились серебро и радость.

Вернулся весь ледяной, и только в затылке было горячо, как будто туда припечатали зимним солнцем, как нагретым медяком: так меня и разбудили.

С какого-то возраста, допустим, с пятнадцати лет, в любой компании я тихо решал для себя: «Мужчина здесь я»; и если нужно было принять решение – принимал его я. Чаще всего по той простой причине, что больше никто ни на что не решался.

Я не предпринимал для жизни никаких усилий, отныне она сама стелилась под ноги.

Мир разделился на две половины – одни дружат со мной, другие слабее меня. Есть ещё какие-то третьи, но нам нет дела друг до друга.

От меня ушли только те, кого я не любил, а кого я люблю – остались со мной.

Того, из школы, который снял и выбросил мою заячью шапку, я встретил на улице пятнадцать лет спустя, он стал ещё выше, на три головы больше меня – пришлось подпрыгнуть. Он стоял ошарашенный, глаз его начал затекать мгновенно, как будто на него пролили гуашь.

– Ты чё, бля? – спросил он.

Мы больше на такие вопросы не отвечаем.

Подруга, та самая, что в целлофане, спустя семнадцать лет написала письмо: я не знала, кто ты такой.

Надо было знать, а зачем ты тогда женщина; только мужчины имеют право не знать.

Девятнадцать лет спустя заехал в свою деревню – я возвращался туда каждый год, словно что-то там потерял – калошу в снегу? серебряную монетку? первый нательный крестик? – приехал, а деревню опять накрыло снегом, иду и думаю: если смести снег – там следы моих босых детских ног. Если пойти по этим следам – приду ровно к себе, войду в свою жизнь, всю её проживу, опять подумаю на том же самом месте: если смести снег – там следы...

Смотрю – а лужа так и стоит на прежнем месте, русская почва неистощима, хотя ни лошадей, ни трактора в деревне нет, – но всё равно в луже что-то чернеет, булькает, всхлипывает,

чавкает, бурчит.

Подошёл – Чебряковы лежат, оба брата, один увяз, второй его тянет, оба похожи на старых собак, голосов не слышно, стынет слюна на сизых лицах. Лица по-прежнему одинаковые. Глаза у них кто-то высосал, что-то слезится на самом дне.

Начал вытаскивать, рванул за руку кого-то из них – она оторвалась: чёрт, что делать, я не хотел – понятно, что пришла пора расплаты, но чтоб до такой степени... Потом понял: вырвал с корнем рукав телогрейки.

На снегу виднелась чья-то пьяная голая рука, пальцы елозили в разжиженном снегу.

Больше никому не дали сделать зла.

Я мог бы ухватить такие солнца, румяные и горячие, в самые руки, – но хватало знания о возможности, одним этим знанием был перекормлен, избалован, пресыщен.

Я доехал-таки до грозовой границы и стрелял в людей, но кто-то собирал в ладонь все выпущенные мной пули и выбрасывал, как шелуху. Я точно никого не убил, я знаю это наверняка – но если попрошу, дадут и убить. Дадут всё что угодно.

Отец ушёл, я не догнал его.

А если б он вернулся – тогда дали бы всё, что дали с лихвой теперь?

Я бы, конечно, сбагрил всё это нынешнее добро, чтоб догнать отца, чтоб только его догнать – но со мной никто не торгуется, никто ничего не предлагает: тут обмена нет, тут только раскладывают перед глазами всякую чудесную всячину – и я беру. Выбора нет. Можно, конечно, не брать – но там на всех хватает, я видел. Там никому не желают дурного, там сидит щедрый хозяин.

...и тогда, помните, когда я рассовал по карманам эту дурную зелёную бумагу – я посмотрел вверх, и меня лизнули в лицо – всем этим чернильным февральским жаром, как собачьим языком, словно говоря: ну, ты что? кто тебя может обидеть, дуралей?

Вернулся в огромный зал, все мне улыбаются, здравствуй, как там тебя, брат-наш-пушкин, брат-наш-хлестаков, здравствуй, мы хотели бы съесть тебя, но вместо этого будем тебя прижимать к нашему огромному сердцу.

Нашёл своего, в общем, товарища, который любил распахиваться, взял его за пуговицу, увёл за угол, сказал в лицо, с глазу на глаз – он знает, он помнит, он не сумеет забыть, простить тоже не сумеет, – сказал: я сильнее тебя, как человек, как мужчина, как выдумщик, как беспредельщик, как всё что угодно. Понял меня? Он кивнул: понял. Сгинь! – велел. Он сгинул.

Да, любая взрослая победа кажется смешной и мелкой на фоне детского поражения, но что поделаешь.

Зато теперь я сам могу написать любое слово у себя на лбу, и моё право на это переедет поперёк любую ухмылку – береги зубы, глупый человек, о чём ты смеёшься, глупый человек, ты смеёшься о себе. Аминь.

Разноцветный шарф уже полон моим дыханием, снег тает на лету, враль-февраль, ты проиграл, или, может быть, выиграл, ты научил меня всему, но я не умею сделать ни одного вывода из произошедшего.

Стою теперь на пороге, мои чада вопросительно озирают мою зимнюю одежду, глаза их горячие, глаза их смотрят.

Спрашивают, куда, надолго ли.

Решаю, что делать: уйти, не оглянуться? Или вернуться – взять на руки? Как угадать, что им поможет?

© Захар ПРИЛЕПИН НекауаӀар